

Иван Гончаров

Обыкновенная история

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 93
ББК 63.3
Г65

Г65 **Гончаров И.**
Обыкновенная история / Иван Гончаров – М.: Книга по Требованию, 2012. –
216 с.

ISBN 978-5-4241-1391-8

ISBN 978-5-4241-1391-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Иван Гончаров
«Обыкновенная история»
Роман в двух частях

Часть Первая

I

Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.

Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорыч, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном; а в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили на цыпочках и говорили шёпотом, чтобы не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздражённая львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком.

На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых, хотя всё господское семейство только и состояло, что из Анны Павловны да Александра Федорыча. В сарае вытирала и подмазывала повозку. Все были заняты и работали до поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо его проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется, спрашивал: «Скажут ли мне, наконец, что у нас сегодня за суматоха?»

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для неё день! От этого она такая грустная и расстроенная. Часто, в хлопотах, она откроет рот, чтоб приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернётся в сторону и оботрёт, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит её в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино бельё. Слезы давно кипят у ней в сердце; они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья; но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый тёплый угол в дому, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и – что всего важнее для Евсея – первой её ключницы.

За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама.

История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всём на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же как и обо всём, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых? Зато вот настал и миг утраты! Прощай, тёплый угол, прощай, Аграфена Ивановна, прощай, игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка – всё прощай!

Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и вместо того, чтоб первую чашку крепкого чаю подать, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: «никому, дескать, не доставайся», и твёрдо

перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит шкафа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на всё и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в её характере. Она никогда не была довольна; всё не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для неё минуту характер её обнаруживался во всём своём пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.

– Аграфена Ивановна!.. – сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.

– Ну, что ты, разиня, тут расселся? – отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. – Пусти прочь: надо полотенце достать.

– Эх, Аграфена Ивановна!.. – повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

– Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, господи! и не отвяжется!

И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку.

– Аграфена! – раздалось вдруг из другой комнаты, – ты никак с ума сошла! разве не знаешь, что Сашенька почивает? Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?

– Не пошевелись для тебя, сиди, как мёртвая! – прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать её в куски.

– Прощайте, прощайте! – с громаднейшим вздохом сказал Евсей, – последний денёк, Аграфена Ивановна!

– И слава богу! пусть унесут вас черти отсюда: просторнее будет. Да пусти прочь, негде ступить: протянул ноги-то!

Он тронул было её за плечо – как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфене этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.

– Кто-то сядет на моё место? – промолвил он, всё со вздохом.

– Леший! —отрывисто отвечала она.

– Дай-то бог! лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть?

– Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда? – со злостью заметила она. Евсей встал.

– Вы не играйте с Прошкой, ей-богу, не играйте! – сказал он с беспокойством и почти с угрозой.

– А кто мне запретит? ты, что ли, образина этакая?

– Матушка, Аграфена Ивановна! – начал он умоляющим голосом, обняв её за талию, сказал бы я, если б у ней был хоть малейший намёк на талию.

Она отвечала на объятие локтем в грудь.

– Матушка, Аграфена Ивановна! – повторил он, – будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не даст. А я-то! э-эх! Вы у меня, что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так... эх!..

Он при этом крякнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: и у ней, наконец, горе обнаружилось в слезах.

– Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? – говорила она плача, – что мелешь, дуралей! Свяжусь я с Прошкой! разве не видишь сам, что от него путного слова не добьёшься? только и знает, что лезет с ручищами...

– И к вам лез? Ах, мерзавец! А вы, небось, не скажете! Я бы его...

– Полезь-ка, так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь! Вишь, что выдумал! Подле него и сидеть-то тошно – свинья свиньёй! Он, того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук – и не увидишь.

– Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придёт – лукавый ведь силён, – так лучше Гришку посадите тут: по крайности малый смиренный, работающий, не зубоскал...

– Вот ещё выдумал! – накинулась на него Аграфена, – что ты меня всякому навязываешь, разве я какая-нибудь... Пошёл вон отсюда! Много вашего брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! С тобой только, таким лучшим, попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь... а то выдумал!

– Бог вас награди за вашу добродетель! как камень с плеч! – воскликнул Евсей.

– Обрадовался! – зверски закричала она опять, – есть чему радоваться – радуйся!

И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.

– Аграфена Ивановна! – робко сказал Евсей немного погодя.

– Ну, что ещё?

– Я ведь и забыл: у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.

– Только и дела!

– С горя, матушка.

Она достала с нижней полки шкафа, из-за головы сахару, стакан водки и два огромные ломтя хлеба с ветчиной. Всё это давно было приготовлено для него её заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол.

– На вот, подавись! О, чтоб тебя... да тише, не чавкай на весь дом.

Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, а он медленно начал есть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою рот.

Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к седёлке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульную. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отёр пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

– Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька? – сказала она. – Он, мой голубчик, проспит, пожалуй, и последний денёк: так и не нагляжусь на него. Да нет, куда тебе! ты, того гляди, влезешь как корова! я лучше сама...

И пошла.

– Поди-ка ты, не корова! – ворчала Аграфена, воротясь к себе. – Вишь, корову нашла! много ли у тебя таких коров-то?

Навстречу Анне Павловне шёл и сам Александр Федорыч, белокурый молодой человек, в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемодан и узлы, смутился, молча отошёл к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и беспечно, даже с радостью смотрел на дорожные сборы.

– Что это ты, мой дружок, как заспался, – сказала Анна Павловна, – даже

личико отекло? Дай-ка вытру тебе глаза и щёки розовой водой.

– Нет, маменька, не надо.

– Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковородке – чего хочешь?

– Всё равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать бельё, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской.

– Саша!.. – сказала она через несколько времени.

– Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, как будто чего-то боялась.

– Куда ты едешь, мой друг, зачем? – спросила она, наконец, тихим голосом.

– Как куда, маменька? в Петербург, затем... затем... чтоб...

– Послушай, Саша, – сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому с намерением сделать последнюю попытку, – ещё время не ушло: подумай, останься!

– Останься! как можно! да ведь и... бельё уложено, – сказал он, не зная, что выдумать.

– Уложено бельё! да вот... вот... вот... гляди – и не уложено.

Она в три приёма вынула всё из чемодана.

– Как же это так, маменька? собрался – и вдруг опять! Что скажут...

Он опечалился.

– Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастья? Да разве тебе здесь нехорошо? разве мать день-деньской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно, ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокруг себя: все смотрят тебе в глаза. А дочка Марья Карповны, Соноушка? Что... покраснел? Как она, моя голубушка – дай бог ей здоровья – любит тебя: слышь, третью ночь не спит!

– Вот, маменька, что вы! она так...

– Да, да, будто я не вижу... Ах! чтоб не забыть: она взяла обрубить твои платки – «я, говорит, сама, сама, никому не дам, и метку сделаю», – видишь, чего же ещё тебе? Останься!

Он слушал молча, поникнув головой, и играл кистью своего шлафрока.

– Что ты найдёшь в Петербурге? – продолжала она. – Ты думаешь, там тебе такое же житьё будет, как здесь? Э, мой друг! Бог знает, чего насмотришься и натерпишься: и холод, и голод, и нужду – всё перенесёшь. Злых людей везде много, а добрых не скоро найдёшь. А почёт – что в деревне, что в столице – всё тот же почёт. Как не увидишь петербургского житья, так и покажется тебе, живучи здесь, что ты первый в мире; и во всём так, мой милый! Ты же воспитан, и ловок, и хорош. Мне бы, старухе, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послал бы бог тебе деточек, а я бы нянчила их – и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал; а там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька, – а?

Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова.

– А посмотри-ка сюда, – продолжала она, отворяя дверь на балкон, – и тебе не жаль покинуть такой уголок?

С балкона в комнату пахло свежестью. От дома на далёкое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черёмухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой – тёмно-синее, как небо, которое отражалось в нём, и едва подёрнутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к тёмному лесу.

Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет.

– Погляди-ка, – говорила она, – какой красотой бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пирисот четвертей сберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха; только гречиха нынче не то, что прошлый год: кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость божия! Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь всё это твоё, милый сынок: я только твоя приказчица. Погляди-ка, озеро: что за великолепии! истинно небесное! рыба так и ходит; одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси кишмя-кишат: и на себя и на людей идёт. Вон твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. И ты хочешь бежать от такой благодати, ещё не знаешь куда, в омут, может быть, прости господи... Остайся!

Он молчал.

– Да ты не слушаешь, – сказала она. – Куда это ты так пристально загляделся?

Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург. Анна Павловна молчала несколько минут, чтоб собраться с силами.

– Так вот что! – проговорила она, наконец, уныло. – Ну, мой друг, бог с тобой! поезжай, уж если тебя так тянет отсюда: я не удерживаю! По крайней мере не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь.

Бедная мать! вот тебе и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ваши дела по свету – голова старушки трясётся от радости, она плачет, смеётся и молится долго и жарко. А сынок, большею частью, и не думает поделиться славой с родительницею. Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец отталкивают вас от себя люди и нет вам места между ними – тем более места в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится ещё более и жарче.

Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? Ему было двадцать лет. Жизнь от пелен ему улыбалась; мать лелеяла и баловала его, как балуют единственное чадо; нянька всё пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя; профессеры твердили, что он пойдёт далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот, Васка, был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме.

О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого буду-

шее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно – он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их; слышались смешанные звуки – то голос славы, то любви: всё это приводило его в сладкий трепет.

Ему скоро тесен стал домашний мир. Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства и мурлыканье Васьки – все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и свершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькою любовью, в ожидании большой. Мечтал он и о пользе, которую принесёт отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков. Всего более он мечтал о славе писателя. Стихи его удивляли товарищей. Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь; заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы.

Как же ему было остаться? Мать желала – это опять другое и очень естественное дело. В сердце её отжили все чувства, кроме одного – любви к сыну, и оно жарко ухватило за этот последний предмет. Не будь его, что же ей делать? Хоть умирать. Уж давно доказано, что женское сердце не живёт без любви.

Александр был избалован, но не испорчен домашнею жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих действовали только на добрые его стороны, развили, например, в нём преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нём и самолюбие; но ведь самолюбие само по себе только форма; всё будет зависеть от материала, который вольёшь в неё.

Гораздо более беды для него было в том, что мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкий ум и запас большой опытности, не ограниченной тесным деревенским горизонтом. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, не плакать и не страдать вместо его и в детстве, чтоб дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться с своими силами и подумать о своей судьбе – словом, узнать, что он мужчина. Где же было Анне Павловне понять всё это и особенно выполнить? Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть ещё? Она уже забыла сыновний эгоизм. Александр Федорыч застал её за вторичным укладываньем белья и платья. В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя.

– Вот, Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу, – говорила она. – В самый низ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, так ли записано?

– Так, маменька.

– Все с твоими метками, видишь – А. А. А всё голубушка Сонюшка! Без неё наши дурищи не скоро бы поворотились. Теперь что? да, наволочки. Раз, две, три, четыре – так, вся дюжина тут. Вот рубашки – три дюжины. Что за полотно – загляденье! это голландское; сама ездила на фабрику к Насилью Васильичу; он

выбрал что ни есть наилучшие три куска. Поверья же, милый, по реестру всякий раз, как будешь принимать от прачки; все новёшенькие. Там немного таких рубашек увидишь; пожалуй, и подменят; есть ведь этикие мерзавки, что бога не боятся. Носков двадцать две пары... Знаешь, что я придумала? положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится, так, сохрани боже! случай какой, чтоб и рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положу: то-то, чай, обрадуется! ведь семнадцать лет и словом не перекинулись, шутка ли! Вот косыночки, вот платки; ещё полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков: славный полубатист! У Михеева брала по два с четвертью. Ну, бельё всё. Теперь платье... Да где Евсей? что он не смотрит? Евсей!

Евсей лениво вошёл в комнату.

– Чего изволите? – спросил он ещё ленивее.

– Чего изволите? – заговорила Адуева гневно. – Что не смотришь, как я укладываю? А там, как надо что достать в дороге, и пойдёшь всё перерывать вверх дном! Не может отвязаться от своей возлюбленной – экое сокровище! День-то велик: успеешь! Ты этак там и за барином станешь ходить? Смотри у меня! Вот гляди: это хороший фрак – видишь, куда кладу? А ты, Сашечка, береги его, не всякий день таскай; сукно-то по шестнадцать рублей брали. Куда в хорошие люди пойдёшь, и надень, да не садись зря, как ни попало, вон как твоя тётка, словно нарочно, не сядет на пустой стул или диван, а так и норовит плюхнуться туда, где стоит шляпа или что-нибудь такое; намедни на тарелку с вареньем села – такого сраму наделала! Куда попроще в люди, вот этот фрак масака надевай. Теперь жилеты – раз, два, три, четыре. Двое брюк. Э! да плагья-то года на три станет. Ух! устала! шутка ли: целое утро возилась! Поди, Евсей. Поговорим, Сашенька, о чем-нибудь другом. Ужо гости приедут, не до того будет.

Она села на диван и посадила его подле себя.

– Ну, Саша, – сказала она, помолчав немного, ты теперь едешь на чужую сторону...

– Какая «чужая» сторона, Петербург: что вы, маменька!

– Погоди, погоди – выслушай, что я хочу сказать! Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты наглядишься, и хорошего, и худого. Надеюсь, он, отец мой небесный, подкрепит тебя; а ты, мой друг, пуще всего не забывай его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чём. Достигнешь там больших чинов, в знать войдёшь – ведь мы не хуже других: отец был дворянин, майор, – всё-таки смирайся перед господом богом: молись и в счастья и в несчастья, а не по пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Иной, пока везёт ему, и в церковь не заглянет, а как придёт невмочь – и пойдёт рублёвые свечи ставить да нищих оделять: это большой грех. К слову пришлось о нищих. Не трать на них денег по-пустому, помногу не давай. На что баловать? их не удивишь. Они пропьют да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно; бог подаст! Будешь ли ты посещать храм божий? будешь ли ходить по воскресеньям к обедне?

Она вздохнула.

Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь; а в деревне, только из угождения матери, сопровождал её к обедне. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула.

– Ну, я тебя не неволю, – продолжала она, – ты человек молодой: где тебе быть так усердно к церкви божией, как нам, старикам? Ещё, пожалуй, служба помешает или засидишься поздно в хороших людях и проспишь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слёзы в глазах и бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти, до церковного порога; последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровье, и чинов, и крестов, и небесных и земных благ. Неужели-то он, милосердый отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними он у меня всё: здоровье, жизнь, пошли слепоту – тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро...

Она не договорила, слёзы закапали у ней из глаз.

Александр вскочил с места.

– Маменька... – сказал он.

– Ну, сядь, сядь! – отвечала она, наскоро утирая слёзы, – мне ещё много осталось поговорить... Что бишь я хотела сказать? из ума вон... Вишь, нынче какая память у меня... да! блюда посты, мой друг: это великое дело! В среду и пятницу – бог простит; а в великий пост – боже оборони! Вот Михайло Михайлыч и умным человеком считается, а что в нём? Что мясоед, что страстная неделя – всё одно жрёт. Даже волос дыбом становится! Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята господом? Слышь, подал раз старику красенькую, тот взял её, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему и в глаза-то бог знает что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого.

Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно, на дальнюю дорогу.

Она замолчала на минуту.

– Береги пуще всего здоровье, – продолжала она. – Как заболеешь – чего боже оборони! – опасно, напиши... я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Норвят ещё обобрать больного. Не ходи ночью по улицам; от людей зверского вида удайся. Береги деньги... ох, береги на чёрный день! Трать с толком. От них, проклятых, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня две тысячи пятьсот рублей в год. Две тысячи пятьсот рублей не шутка. Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себе в чём можно; захочется полакомиться – не скупись. – Не предавайся вину – ох, оно первый враг человека! Да ещё (тут она понизила голос) берегись женщин! Знаю я их! Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят эдакого-то...

Она с любовью посмотрела на сына.

– Довольно, маменька; я бы позавтракал? – сказал он почти с досадой.

– Сейчас, сейчас... ещё одно слово...

– На мужних жён не зарься, – спешила она досказать, – это великий грех! «Не пожелай жены ближнего твоего», сказано в писании. Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться – боже сохрани! не моги и подумать! Они готовы подцепить, как увидят, что с денюжками да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного да богатого вельможи разгорятся на тебя зубы и он захочет выдать за тебя дочь – ну, тогда можно, только отпиши: я кое-